

А. П. ЧЕХОВ

**ЗАТЕРЯННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
ВОСПОМИНАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ**

**Под редакцией
М. Д. Беляева и
А. С. Долинина**

**ТРУДЫ ПУШКИНСКОГО ДОМА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «АТЕНЕЙ»
ЛЕНИНГРАД
1925**

Ленинградский Гублант № 11386/19. — 2000 экз.

Российская Государственная Академическая Типография

В. О., 9 линия 12.

В ЮНЫЕ ГОДЫ.

(Мои встречи с Чеховым и его современниками).

ВОСПОМИНАНИЯ Т. Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК.

Большой меблированный дом в Москве, выходящий на три улицы: Тверскую, Леонтьевский и Брюсовский переулки. С Тверской — комнаты пошкарнее; там останавливаются разные приезжие знаменитости. Подъезд внушительный, с зеркалами, коврами, широкой лестницей и важным швейцаром: эта часть дома называется «Лувр». С Леонтьевского — все поскромнее: и вход, и комнаты, и цены; это — «Мадрид». Но везде одинаково чисто, благоустроено и по возможности — комфортабельно. В «Лувре» живет моя подруга, восходящая театральная звезда, Лидия Борисовна Я. — У нее целое отделение — три комнаты, огромная полукруглая синяя гостиная в 5 зеркальных окон, выходящих на Тверскую и Брюсовский; из них видна вся площадь (ныне Советская) и движение шумной артерии Москвы. В «Мадриде» — живу я. У меня скромная комната, вернее — полторы, там очень уютно: это мой мирок, мне большего не надо. Отделение для спаленки; а в большой комнате — мягкая мебель, письменный стол, этажерка с книгами, всегда свежие цветы и кое-какие, еще детские безделушки и портреты, привезенные из дому. Мне 18-й год. Я живу одна: моя мать умерла, отец с другой семьей живет на юге; я живу своим трудом. И в то время, как мои сверстницы и бывшие товарки по гимназии еще не выходят на улицу без гувернантки, — я вполне свободна и самостоятельна. Это немножко опьяняет, и кажется, что всё: весь мир, будущее, жизнь — в моих руках и принадлежит мне.

Моя подруга — артистка. Она года на 4 старше меня. Сразу из школы заняла в театре К* * первое положение, сыграла «Даму в камелиях», «Мадам Сан-Жен» и т. п. Поклонники воспевают ее в стихах и в прозе, говорят, что у нее глаза русалки, сравнивают ее со всевозможными картинами Боттичелли, статуями Кановы и пр. У нее золотистые волосы, великолепные серо-голубые глаза, большой, но очень красивый рот, умеющий быть и нежным, и жестоким. Она оживлена, всегда вся горит, любит и умеет кокетничать; когда мы остаемся одни и она сидит в белом капоте, с распущенными волосами, и рассказывает мне о романе своей юности, о несчастном замужестве и обиженном сердце — она как две капли похожа на Мадонну Мюнхенского скульптора Бейрера. Иногда, готовясь к какой-нибудь роли, она носит травести и тогда в нее вселяется мальчишеский бес; она дурачится, шутя ухаживает за мной и дразнит наших серьезных друзей. Ее любят и ненавидят; в газетах то рвут на части, то превозносят; и вся Москва о ней говорит.

Видимся мы часто и много. Мы открыли, что «Лувр» и «Мадрид» соединяются общим ходом: это какие-то темные подземелья, катакомбы, переходы — ими пользуются только служащие (кажется, у обоих домов общая кухня) и — мы. Соединение этой «Франции» с этой «Испанией» один из наших друзей, Гольцев, окрестил «Нет больше Пиринеев», и с тех пор «Пиринеи» видели много неожиданных гостей: разные Московские знаменитости, артисты, профессора пробирались по ним; шелестели шелковые юбки, и в подвальном, спертom воздухе «Пиринеев» оставались струйки тонких духов. Иногда часа в 2 ночи раздавался по коридору быстрый-быстрый стук каблуков, и в нашу дверь стучались: это была какая-нибудь из наших подруг с миссией «разбудить, если спят» — и тащить куда-нибудь, на тройку, к цыганам и пр. И этого мы не боялись: мы умели работать, но умели и веселиться.

Работать мы действительно умели. Чтобы не быть голословной, я хоть приблизительно укажу, что я успела сделать с конца 1892 по 1895 г., как раз эпоха, о которой я пишу, т. е. с моих 17 по 21 год.

Я написала 6 одноактных пьес, из них 2 в стихах (Летняя картинка, Ирэн, Вечность в мгновенье, В детской, Месье Амура — шли в Малом театре; На станции — в част-

ном театре Корша). Перевела в стихах 3-актную пьесу Ростана «Романтики», которая идет и до сих пор; выпустила сборник рассказов «Странички жизни» и «Ничтожные мира сего»; написала роман «Счастье» (печатавшийся впоследствии в «Неделе»); сотрудничала в «Русск. Ведомостях», «Русской Мысли» и «Артисте»; год играла на сцене (бросила ее, чтобы окончательно посвятить себя литературе). Участвовала в бесконечном количестве благотворительных, студенческих и др. концертов, дежурила в яслях для детей рабочих и работала в воскресной читальне у И. П. Чехова, где-то за Басманной. Этого, кажется, одного довольно бы, чтобы заполнить жизнь; но сил и энергии было непочатое количество, и времени хватало на все.

Когда нам нужно было серьезно поработать и мы хотели укрыться от посетителей — мы «менялись»: я уходила писать в комнаты Лидии, она — учить роль в мою. Тогда каждая могла безжалостно отсылать гостей другой, и являлась возможность заниматься. Когда я возвращалась после такого отсутствия к себе, я всегда находила на своем столе или свежие цветы, или какую-нибудь нежную записочку «в благодарность за приют» — мы были очень молоды, очень восторженны и немножко сентиментальны...

Другие приятельницы мои, чаще всего делившие наши досуги, были: молодая певица Варвара Аполлоновна Э., Лидия Стахивна М., тоже учившаяся петь, и Мария Павловна Чехова, через которую я и познакомилась с ее братом Антоном Павловичем.

Лидия М., так называемая Лика, была девушкой необычайной красоты, настоящая «Царевна Лебедь» из русской сказки; ее пепельные, вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под очень темными бровями, вся необыкновенная мягкость и непередаваемая прелесть в соединении с полным отсутствием лomanья и даже слегка суровой простотой, делали ее обаятельной. Она как будто не только не понимала, как она красива, но стыдилась и обижалась, если об этом заводи́ли речь; но как ни старалась, не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улицах и засматривались в театрах.

Ее близкий друг, Варвара Аполлоновна Э., была тоже очень интересна в своем роде: высокая, стройная, с темными волосами, — цвета спелого каштана, освещенного за-

катом, — с зелеными глазами. У нее был милый голос. В Большом театре она портично и свежо спела Татьяну, а вот так, в дружеском кругу, сидя на полу на подушках в моей комнате и держа в руках балалайку, на которой знакомые художники писали ей всякие головки и пейзажи, а я — свои стихи, — она чудесно пела русские песни: «Хуторок», «Перекасти-поле», как может только петь русская степная девушка, и заставляла навертываться слезы на глаза слушавших. Я думаю, будь это позже, она могла бы превзойти успехом Плевицкую и ей подобных; но тогда русские песни еще не вошли в моду. Она была необыкновенно, заразительно весела и жизнерадостна. Иногда, когда она жила у своих в деревне, она приезжала ко мне в Москву «на один день, переночевать и домой»; и этот один день растягивался в две — три недели, — так цеплялись одно за другое приглашения, выставки, спектакли... У меня остался в памяти яркий день ранней весны, голубой и золотой, в Москве. Варя только что была у какой-то гадалки, куда заставила меня ее сопровождать; гадалка наговорила ей всякого вздору, и выходя мы веселились, как дети. Мы садились в пролетку; кругом сновала оживленная толпа, ярко блестела, как свежее вымытая, зелень бульваров, горели купола церквей. Мы обе рассмеялись, сами не зная чему, — и тут же на улице звонко расцеловались, радуясь тоже не зная чему: солнечному дню, свободе... а главное своей молодости. Ничего не случилось, а нам обоим казалось, что нам подарили что-то драгоценное... Много лет спустя, когда я встретила ее в трауре по мужу и в повязке сестры милосердия, мы вспомнили эту минуту...

Все мы были так или иначе «профессионалки», кроме Марии Павловны Чеховой; впрочем, и она тогда занималась живописью и преподавала в гимназии историю. Она была немного старше, немного, я бы сказала, серьезнее и сдержаннее нас на вид; и первое время я слегка дичилась ее; но скоро поняла всю ее душевную простоту, Чеховский юмор и тихое веселье, освоилась с ней совсем; и в нашем кругу она всегда была ноткой «Тургеневской» женственности, тихо веющей от нее даже в самые шумные минуты. Она вся, с ее лучистыми глазами, неслышными шагами и тихим голосом, была олицетворением женственности и чистоты. Но — не даром она была Чехова: умела и понимать шутку и сама подразнить, — все это незлобиво и умно.

Я остановилась на описании некоторых моих подруг потому что мы тогда составляли довольно интересный и очень «новый» кружок, подобного которому до нас собственнно не бывало. Дело в том, что раньше женщины как-то подразделялись на два разряда: женщины из так называемого «общества», это были жены, матери, сестры... их уважали, почитали, берегли — и с ними скучали. Другой разряд был — те женщины, к которым ездили кутить, с которыми не кланялись в обществе и которых можно было купить. На них разорялись, с ними пили — и в конце концов тоже скучали.

В те годы, о которых пишу я, была тупая и глухая реакция. Женщине не давали доступа к высшему образованию; большая часть высших учебных заведений и курсов была закрыта; и девушке с жадной свободой, труда и самостоятельности была одна дорога — в искусство. От того-то лучший сорт девушек, которые в 60-е годы пошли бы на медицинский факультет и т. п., — кинулся так или иначе в искусство. И образовался новый тип — такие, как «мы», и явился новостью для мужчин. С нами не было скучно... Мы умели веселиться, выпить глоток шампанского, спеть цыганский романс, пококетничать; но мы умели и поговорить о Ницше, и о Достоевском, и о богоискательстве, мы умели прочесть реферат, продержат корректуру и пр. и со свободой нравов соединяли то, что они привыкли видеть в своих матерях, женах и сестрах: «порядочность», благовоспитанность, чистоту. Знали, что нас то нельзя «купить», что мы требуем такого же уважения, как «жены, матери и сестры», а вместе с тем с нами можно говорить, как с товарищами, серьезно и по делу, но при этом чувствовать тот «аромат женственности», без которого скучно.

Я говорю об этом подробно, чтобы объяснить, почему наш кружок заключал в себе так много серьезных, умных, даже пожилых людей, которые у нас чувствовали себя, как рыбы в воде, и рады были каждому предлогу, чтобы с нами провести время. Это своеобразный момент в жизни Москвы прошлого века, и я не могу его не отметить.

Одним из наших ближайших друзей был «дедушка» Саблин; наш милый «серебряный дедушка»! Вспоминаю о нем с глубокой нежностью и благодарностью. Это был один из редакторов «Русских Ведомостей», ведавший главным обра-

зом административной частью. По образованию статистик, он очень серьезно и много работал на этом поприще. Брат его был известный революционер Н. Саблин, покончивший самоубийством. Сам Михаил Алексеевич был человек хрустальной души и честности... Ему было всего 52 года, когда мы встретились с ним, но его Московская «ленца», его седые волосы, неизменная мягкая сорочка, в которой он всюду, даже на торжественные заседания и юбилеи, ходил, его добродушная манера с нами, молодежью, его баловство, а иногда и воркотня на нас за «легкомыслие»,—все это вместе заставило меня прозвать его «дедушкой», и с моей легкой руки все, и Чехов в том числе, иначе его уже не звали.

«Дедушка» всегда готов был прийти на выручку во всяком затруднительном случае; всегда у него был наготове и дружеский совет, и проборка, и помощь. Никогда не забуду, как в первый раз он явился мне в роли «добрého волшебника». Мы всей компанией, в том числе он и Лидия, поехали на Курский вокзал провожать Чехова, уезжавшего на юг. Привезли ему лимонно-желтых тюльпанов и светло-лиловых гиацинтов и сидели все вместе за круглым столом в буфете, желая Антону Павловичу счастливого пути за стаканом вина. На другой день должна была уезжать и моя подруга в Италию. Я грустно сказала:

— Вот, как в старом анекдоте: все разъедутся, одна я не разъедусь... — Лидия тоже начала вздыхать по этому поводу.

— Отчего же вы не едете с Л. Б.? — Спросил кто то.

— Вот так вопрос, а деньги на поездку? ведь это не мало нужно.

Тогда дедушка Саблин спокойно спросил:

— А на что же «Русские Ведомости» и авансы?

Я так недавно еще была на литературном поприще, что идея аванса была мне незнакома... Я раскрыла рот от удивления, а Лидия воскликнула, всплеснув руками:

— Какое счастье, дедушка! Неужели это можно устроить? Ты едешь со мной!

— Постойте, да ведь у меня и паспорта нет, на это тоже нужно несколько дней, а ты едешь завтра?...

— Кому нужно, а кому и не нужно, — засмеялся дедушка: — даром что ли у меня вся Москва знакомые?

И на другой день, прямо из великопостной распутицы грязной Москвы, я в первый раз ехала за границу... Попала прямо под цветущие камелии, под цветущее небо Флоренции... Мне тогда это казалось сказкой — и сказку эту я пережила благодаря дедушке.

У этого милого, серьезного, бесконечно много работавшего человека, была одна слабость: он любил покушать и еще больше — угостить и очень ценил во мне мой здоровый молодой аппетит. Очень часто он приезжал за мной и увозил меня завтракать в Эрмитаж, где у него был свой столик и где при его появлении ослепительно-белый официант осклабляясь приветствовал его по имени: «Здравствуйте, Михаил Алексеевич!» и тащил ему какой-то его любимый коньяк под названием «журавли», так как он подавался в графинчиках с граненым изображением журавлей. Тут за бесконечными беседами дедушка поучал меня разным вещам: критиковал последний рассказ, советовал, какую книгу прочесть, рассказывал что-нибудь из прошлого газеты, предлагал темы для фельетона. И наряду с этим учил, что после чего пьют, в каком порядке что едят, и прибавлял:

— Не люблю я женщин, которые не понимают, что едят: дай ты ей вареную картошку, дупеля, пре-сале или жареную калошу — не разберет. Культурный человек даже в таких жизненных функциях, как еда и питье, должен быть культурным.

Но сильно подозреваю, что его любовь завтракать со мной именно — была вызвана его неоднократным присутствием при моих 40-копеечных «мадридских» обедах, когда я наспех глотала какую-нибудь миниатюрную «жареную калошу»... Как сейчас вижу я его красивое, розовое лицо, его яркие и ясные, как у ребенка, голубые глаза и серебристую седину волос и бороды и слышу добродушный его голос с Московской оттяжкой. И всегда — чувство спокойствия при нем и уверенности в рыцарской защите и уважении этого «дедушки» к своим молоденьким и в сущности таким беспомощным и беззащитным «внучкам».

Но если завтраки его были «альтруистического характера», за то ужины, особенно когда приезжал Антон Павлович, делались уже для собственного удовольствия. Устраивал их дедушка на славу, а после них любил возить к дыганам

в Грузины, куда захватывались кульки вина и фруктов и где какая-нибудь старая ведьма жарила для всей компании шипящую яичницу—в то время, как дедушка по-Пушкински и по-Апухтински упивался низкими нотами какой-нибудь бледной, узкоглазой Наташи...

А какие приятные «чай» задавал нам иногда дедушка в редакции «Русских Ведомостей», после осмотра типографии, где мне так сладок казался запах свежей краски и бумаги, где я с восторгом присматривалась к работе наборщиков, и такое в юной душе было радостное чувство любви к этим людям, к гордости М. А.—ротационной машине, казавшейся мне живой и вместе с ними помогающей мне передавать в мир мои мысли и чувства, роднящей меня с этим миром;—это может понять только тот, кто сам испытывал это! И в этой обстановке особенно приятно было чувствовать себя «дома», распивать чай под улыбками радушно хозяйничавшего дедушки. Для него редакция «Русских Ведомостей» была смыслом и целью существования, дорогим детищем. В то время, как Соболевский и др. были «Мариями» газеты, он был тою «Марфой», без которой, может быть, остановились бы все колеса этого большого механизма, этой лучшей в то время в России газеты, жившей тревожной жизнью, с постоянными запрещениями, приостановками, штрафами и т. д.

Иногда в ту-же редакцию днем попадала и настоящая внучка М. А.,—трехлетняя хорошенькая Леля, и не знаю, с кем из нас он был добрей.

Я в то время сотрудничала в «Артисте», «Русских Ведомостях» и «Русской Мысли». Моя литературная карьера началась довольно неожиданно для меня самой. Я по требованию моей тети, артистки Малого театра А. П. Щепкиной, в один вечер написала полу-шутя одно-актную пьеску «Летняя картинка». Тетя помимо меня провела ее через все мытарства и ее поставили в Малом театре. Почему-то 17-летняя героиня 17-летнего автора нашла дорогу в сердце зрителя, «Летняя картинка» прошла с редким для одно-актной вещицы успехом и была отмечена прессой. Через несколько дней после постановки ко мне приехал Ф. А. Куманин: длинный, нескладный, с длинными спутанными волосами, падавшими на глаза, и темной бородкой. Он издавал художественный журнал «Артист», единственный в своем роде

в России, который просуществовал всего года три и поглотил все его состояние. Ф. А. умер не старым и почти не пережил своего возлюбленного «Артиста». Этот журнал был исключительно посвящен театру и искусству; велся он широко; в нем печатались все новые пьесы; много серьезных статей по истории искусства, критике, вопросам культуры; новые переводы классиков и т. д.

Участвовали там первоклассные по тем временам силы.

Куманин искренно изумился, увидав такого автора — я благодаря маленькому росту выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Он приехал просить у меня пьесу! «Настоящий» редактор, в «настоящий» журнал! Гордости и радости моей предела не было!

На другой день я по его просьбе приехала в редакцию, помещавшуюся на Страстном бульваре, и познакомилась кое с кем из сотрудников.

В кабинете у Куманина было много интересных картин и этюдов, — те оригиналы, снимки с которых помещались в журнале.

Чтоб рассмотреть их, я попросила позволения становиться на стулья, так как все висело слишком высоко для меня. Это привело всю редакцию в веселое настроение, и Куманин тут-же заявил, что так как я несомненно «старейшая из всех сотрудников», то он просит позволения звать меня бабушкой. Вообще над моим возрастом и детской наружностью не мало потешались, и Антон Павлович звал меня «маститым беллетристом», «коллегой» и «великой писательницей земли русской»...

Тут-же в «Артисте» я встретила с публицистом и критиком Виктором Александровичем Гольцевым; видная в то время в Москве фигура, один из редакторов «Русской Мысли», сотрудничавший в «Артисте». Он предложил мне дать ему рассказ. А через него я вскоре познакомилась и с Саблиным и так вошла в «Русские Ведомости».

Когда я теперь вспоминаю об этих серьезных, умных людях, так сердечно и ласково принявших меня в свою среду, так облегчивших мне мои «первые шаги» в литературе, — я невольно удивляюсь этому; но тогда мне все это казалось вполне естественным, и я смело шла вперед, не спрашивая, за что мне все это?

К Чехову, таким образом, со всех сторон протягивались

нити: с одной стороны через Марию Павловну и Лиду, с другой — через Саблина и Гольцева, с которыми он был в хороших дружеских отношениях, особенно с последним; с ним он сошелся даже на ты; на бабушку он иногда сердился, потому что в «Русск. Вед.», опасаясь цензурных придирок, иногда «урезывали» его рассказы; но в общем очень его любил. Гольцев, со своей стороны, очень дружный с Саблиным, был совсем не похож на нашего бабушку. Он был моложе его лет на 10, еще темный, но с лысинкой; не было в нем того добродушия и круглой мягкости, как в бабушке, — больше остроты и сухости. Умные, оживленные глаза всегда смотрели насмешливо.

Он легко зажигался, способен был на всякие увлечения и за стаканом своего любимого красного вина говорил такие вещи; что слушавшие иногда начинали опасливо поглядывать на стены, зная что и у них есть уши. Он был непримиримый враг существовавшего режима, не скрывал этого, страдал за это, подвергался в свое время высылке и т. п.

Со мной он часто ссорился, пытаясь всячески свести меня с пути «искусства для искусства», по которому, боялся он, я имею склонность идти, — на стезю «искусства гражданского»; это было его любимое словечко, и он постоянно цитировал мне разные стихи, вроде

«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан».

И первый мой рассказ на общественные темы я посвятила ему. Но, пока, мои пробы в «Артисте», мои фельетоны под названием «Цветы» в «Русских Ведомостях» он критиковал строго, — и вдруг к моему большому изумлению расхвалил «Восточные розы», довольно смелую экзотическую миниатюру из гаремной жизни, — найдя в ней гражданскую ноту: стремление вывести турецкую женщину из-под ига порабощения. Я, признаться, совсем не имела в виду этого, когда писала все фантазии, приходившие мне в 18-летнюю голову, но очень была рада, что ему понравилось. Он донимал меня необходимостью «общей идеи» в произведениях, а я никак не могла уяснить себе, что это такое; он же пылил и уверял, что я нарочно выдумываю; и вот, когда старичек профессор Стороженко, один из членов Литературно-театраль-

ного комитета, пропустив мою пьесу «Вечность в мгновеньи», напечатанную в «Артисте», сказал мне, что ему «особенно понравилась общая идея произведения», я прямо задыхнулась от радости и непосредственно после этого с торжеством заявила В. А.:

— Вот у меня есть-же общая идея в «Вечности»!

Он сердито посмотрел на меня и сказал:

— Ну, да, есть: отчего-же я вам толкую, что вы обязаны писать не одни свои цветочки!

Он написал целую шуточную поэму в прозе, в которой изобразил себя — Лаптем «народнического направления», Чехова — орлом, а меня малиновкой, и в этой поэме, — как-то под общий смех прочтенной за ужином, — Лапоть предостерегал малиновку от орла, который может «съесть ее и пустить по ветру ее красивые перышки», и читал ей нотации, пока его вместе с пустой бутылкой от шампанского (это попало его другу «дедушке») не выметала какая-то метла. «А малиновка все пела... Боги Греции, как она пела!» кончалась поэма. Это была маленькая пика Ант. П.—чу за то, что все мы, конечно, уделяли ему, как редко приезжавшему гостю, больше внимания, чем нашим Московским друзьям; пика очень добродушная, потому что сам-то он любил и ждал приездов Ант. П.—ча как праздника.

В то время и в этих кружках я и познакомилась с Чеховым, но как-то не в плоскости «известного литератора», а скорей «брата Маши», которую я очень полюбила.

Мне жаль, что я не вела дневников этого периода, очень жаль: помимо того, что это была юность моя — это еще было интересное для Москвы время. Тогда жизнь искусства и литературы шла очень интенсивно, как всегда, говорят, в эпохи реакции, когда — только в театре, — под иносказанием поэмы, — на холсте картины, — могут подготавливаться и вызываться к жизни заглушенные силы протеста и борьбы.

В Москве зародился и расцвел Художественный Театр; моя подруга ставила в свой бенефис «Борьбу за счастье», первую пьесу, в которой затрагивался рабочий вопрос; у Мамонтова пел «вышедший из народа» молодой Шаляпин; на выставках чаровал еврей Левитан; поклонение этим двум было уже «протестом»...

Новая картина была событием, новая пьеса — волнением, бенефис любимой актрисы — сенсацией. Рефераты и лекции,

разрешенные и запрещенные, сменялись концертами, выставками и пр. Жизнь кипела; все вертелось около искусства. Среди этого иногда собирались у нас и веселились, как дети, вдруг увлекаясь игрой в фанты или мнения, в большой синей гостиной моей подружки; и так как правилом было — от фантов не отказываться, что бы кому ни вышло, — то получались такие картины, что, например, почтенный, корректный профессор политической экономии, седовласый И^{* *}, — лез под стол и лаял собакой, а толстый, как воздушный шар, писатель М^{* *} — танцевал балетное па.

Оживленнее всего проходили вечера, когда наезжал А. П. Чехов в Москву. Он останавливался всегда в «Большой Московской гостинице», напротив Иверской (там у него был свой излюбленный номер) и давал знать о своем приезде. С быстротой беспроволочного телеграфа разносилась весть: «А. П. приехал!» — и дорогого гостя начинали чествовать. Его так усиленно чествовали, что это дало повод прозвать его «Авеланом»: это тогда был морской министр, которого в виду «франко-русских симпатий» беспрерывно чествовали во Франции. И вот, когда приезжал «Авелан», начинались так называемые «общие плавания».

Вот передо мною записочка, написанная его тонким, насмешливым почерком: «Наконец волны выбросили безумца на берег»... (несколько строк многоточий). «И простирали руки к двум белым чайкам»...

Это не отрывок из таинственного романа: это просто записка, означавшая, что приехал Ант. П. и хочет нас видеть.

С нами у него были своеобразные отношения.

Ко мне он относился очень хорошо, хвалил мои вещицы, любил мои стихи, звал меня Таня и немилосердно дразнил — как дразнил он только тех, к кому питал расположение.

К моей подружке чувство у него было двойственное: она ему то нравилась, то не нравилась и безусловно интересовала его, как женщина. Он ее первый рекомендовал Суворину, в театр которого она впоследствии перешла. У них шел своего рода легкий флирт. Между прочим, я помню, она тогда играла какую-то индусскую драму, в которой героиня, с голубыми цветами лотоса за ушами, становится на колени перед своим избранником и говорит ему: «Единственный, непостижи-

мый, дивный!..» И когда А. П. приезжал и входил в синюю гостинную, Лидия принимала позу индусской героини, кидалась на колени и протягивая к нему тонкие руки, восклицала: «Единственный! Непостижимый! Дивный!». Отголосок этого я нашла в «Чайке», в том месте, когда Аркадина становится на колени перед Тригориным и называет его «единственным, великим», что-то в этом роде.

Но дальше легкого флирта у них не шло, и А. П. был как-то этим раздосадован.

К этому периоду относится фотография, на которой мы сняты троим: моя подруга, Ант. П. и я. Сниматься нас возил Куманин.

Это была его идея; он издавал маленькие изящные книжки в роде парижских «Collection Guillaume» — сборники стихов и прозы — и на уголках страниц помещал миниатюрные портреты авторов, а также и виньетки брал с фотографий. Он и повез нас всех сниматься к Трунову: Ант. П. — ча в качестве автора, Лидию, Лику и Варю — для виньеток, а меня — и как автора, и для виньеток.

Снимались все порознь, мы вчетвером, по две и т. д. Наконец было решено на память нам сняться троим. Мы долго усаживались. Когда фотограф сказал «смотрите в аппарат» — Ант. П. успел отвернуться и сделал каменное лицо, а мы всё не могли успокоиться, продолжали смеяться и приставать к нему; в результате карточка вышла такая, что А. П. окрестил ее «Искушение св. Антония».

После съемки, конечно, воспоследовал завтрак в Эрмитаже и т. д. — все по ритуалу.

Антон Павловича затаскивали по обедам, театрам, собраниям литераторов и пр.

Как он сам писал, «он жил в непрерывном чаду», так что в конце концов он с облегчением уезжал в свое Мелхово до нового «плаванья».

В синей гостиной у Лидии он читал только что написанную им «Чайку».

Было много народа, и я смутно помню то впечатление, которое произвела пьеса. Она удивила своей новизной; и тем, кто, как Лидия, признавал только трескуче-эффектные драмы Дюма, Сарду и т. п. — понравиться не могла: Лидия была актриса «французского» жанра и в свое время занималась в Париже с актером «Comédie Française» То. —

Мне, помню, страшно понравился и взволновал меня монолог Нины, а многие увидели в нем только насмешку (!) над новой литературой. Я, впрочем, не могла объективно отнестись к этой пьесе, так как мне казалось, что героиней ее выведена одна близкая мне девушка, близкая также и А. П., которая в это время переживала тяжелый и печальный роман с одним писателем, и помимо всего меня смущал вопрос: неужели ее судьба сложится так же несчастно, как у бедной «Чайки».

Я помню споры, шум, помню неискреннее восхищение Лидии и какое-то, не то смущенное, не то суровое лицо Антона Павловича. Эту пьесу, конечно, по настоящему понял и показал нам только, несколько лет спустя, Художественный Театр.

Компания наша часто пополнялась новыми лицами: И. Н. Потапенко с «интересной бледностью чела» и романами, которые он пел приятным голосом; сдержанный, серьезный С. А. Муромцов, впоследствии Председатель 1-й Думы; представительный А. И. Южин, артист Малого театра и драматург; то вдруг какой-нибудь моряк из Японии; то буддийский проповедник; то болгарский певец...

Наезжал и Дм. Нарк. Мамин-Сибиряк, которого любил Чехов и которого дети одних знакомых встречали так:

— Мама, мама, иди скорей, — твой «Сибиряк» приехал!

Крупный, плечистый, с лицом сибирского купчика, совсем не похожий на «писателя», как его себе представляют, а скорей так, на «прасола». С ним вспоминается забавный эпизод. Он очень любил выпить; в семейной жизни он был несчастлив; у него была больная дочка Аленушка, для которой он писал свои прелестные «Алепушкины сказки». В Москве, среди друзей, он оттаивал душой, и когда выпивал, становился необыкновенно чувствительным. Тогда он чувствовал нежность к своей соседке, кто-бы она ни была, и говорил ей трогательные и проникновенные вещи. Не избежала общей участи и я, и провожая меня как-то в санях, морозной ночью, под ярким звездным небом, он говорил мне:

— Милая, чистая девушка, такая-же чистая, как эти звезды... Будь я моложе! будь я достойнее! я сказал-бы вам: стань моей звездой, свети мне на моем трудном пути. Но я несчастный, обреченный...» Тут мы подъехали к «Ма-

дриду» и появление швейцара остановило его красноречие.

Вскоре после этого пришла ко мне одна из моих приятельниц и начала мне с волнением рассказывать.

— Бедный, бедный Мамин-Сибиряк... как мне жаль его...

— А что?

— Да вот, представь, вчера он провожал меня от Тихомирова и вдруг так трогательно, со слезами на глазах, стал говорить мне...

— Милая, чистая девушка! — прервала я ее. — Такая-же чистая, как эти звезды... и т. д.

— Почему ты знаешь? Изумленно спросила она — и осталась очень недовольна и моим объяснением, и смехом...

В нашем кружке всегда было немножко романтически-повышенное настроение; к Лидии многие были неравнодушны, в том числе и «дедушка». В Лику понемножку все были влюблены и т. д. Но должна сказать, что, несмотря на это, отношение к нам было поистине рыцарское: и все, с дедушкой во главе, не только видели в нас женщин, но и уважали в нас товарищей по работе, и никто не вносил никакой ноты пошлости. Да ее и не было в этих людях.

• У всех у нас, как всегда в таких кружках, были какие-то шуточные прозвища, на которые особенно был неистощим Ант. П.

Между прочим, себя он называл «Авелан» и «иеромонах Антоний», — это были его любимые названия.

Гольцев прозвал меня «Конституцией» и так и записочки мне писал: «Милая конституция!» Поклонники звали нас с Лидией «поэзия» и «фантазия», уверяя, что мы неразделимы, как эти два понятия; Ант. П. звал нас «Лиловая безумная» и «Зеленая безумная» — за наше пристрастие к этим цветам. Чаще всего меня звали Фарфадетта, что означает чертик женского пола, как я и подписывала иногда свои стихи. Впрочем, Куманин звал меня, как я уже говорила, — «бабушкой», а Саблин «внучкой» — как видите, прозвища на все вкусы.

Вся эта шумная, праздничная и вместе перегруженная работой, делом и волнениями Московская жизнь иногда становилась нестерпима; мы срывались и уезжали куда-нибудь на два-три дня, например к Сергию-Троице, при чем Гольцев укоризненно качал головой и говорил нам:

— Мало вам живых людей — угодников смущать поехали!

Но лучшим моим отдыхом, моей отрадой бывали поездки в Мелихово, к Чеховым.

Уже одно ощущение, когда после пыльной, шумной, грязной Москвы, грохота ломовиков, теснящейся толпы, душного и сперттого воздуха в вагоне — выйдешь бывало на маленькую станцию Лопасня, и вдруг глотнешь чистого воздуха — особенно чистого, ароматного, с запахом поля, травы, сосны, ароматного даже зимой, словно под снегом таилось что-то душистое, — потом сядешь в тарантас или сани и едешь — полями, полями, вдыхая ту благословенную тишину, тот простор, задумчивый и грустно-благостный, какой бывает только в русской природе, — уже одно это ощущение было радостно и успокоительно для утомленных от Московской суеты нервов. Словно вдруг приостановился во время быстрого бега — и делаешь передышку... И от серенького неба, от белых берез, краснеющей рябины по дороге веяло покоем и отрадой (Чехов побранил-бы эту фразу, но она выражает охватывавшее тогда настроение). И это ощущение продолжалось и усиливалось, когда я подъезжала к низенькому дому, когда попадала в уютные комнаты Мелихова, в атмосферу всей этой семьи, такой дружной, такой «настоящей». Я была дитя города, — я жила без семьи, одиноко, в постоянном калейдоскопе новых лиц и впечатлений; и — немного в роде того чувства, которое любят описывать старомодные писатели в наивных рассказах — ребенка, у которого нет елки, смотрящего с улицы на ярко освещенную елку — может быть от того мне так и нравилось у Чеховых, что у них было именно то, что так не хватало мне: семья и деревенская жизнь.

Ант. П. в Мелихове был совсем другой, чем в Москве. Там, в Москве, правда, он разделял наши развлечения и интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы: просиживал ночи, слушал музыку так же, как и мы; но я не могла отделаться от того впечатления, что он «не с нами», что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и

точно старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно, — а ему не интересно; и где-то, за стеклами его пенсне, за его юмористической улыбкой, за его шутками — чудилась грусть и отчужденность. Болезнь-ли была тому причиной, которая давала себя знать и, как врачу, была ему слишком ясна; неудовлетворенность ли в личной жизни — потому что девушка, к которой у него было серьезное и глубокое чувство, плохо скрытое той вечной шутливой маской, которую он надевал всегда, — не отвечала ему ничем, кроме дружбы, — но радости в Ант. П. не было; и всегда «издали» на все смотрели его умные, прекрасные глаза.

Он носил брелок с надписью, которую как-то показал мне: «одиному весь мир — пустыня».

Но Мелихово являлось для него оазисом в этой пустыне. И там он бывал другим. Там он играл активную роль; там всё его интересовало.

Я попала в Мелихово впервые, когда он им владел уже около года, и из запущенной, неказистой усадьбы, которую он купил заглаза, оно успело превратиться под его умелыми руками в полную чашу. Каждая посадка, каждая постройка, каждое новое приобретение, лошадь, собака, всё это увлекало его, и никогда я там не видела того рассеянного, отсутствующего взгляда, какой ловила часто в Москве на какой-нибудь красивой женщине, сквозь которую он смотрел на что-то своё.

Он очень полюбил свое Мелихово. Он писал о нем: «Тут всё в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиною с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья; но пройдешься раз-другой, взглядишься — и впечатление маленького исчезает, очень просторно, не смотря даже на близкое соседство деревни. Кругом много леса. Изобилие скворцов. А скворец может с полным правом сказать про себя: пою богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».

...«Да, в деревне теперь хорошо; не только хорошо, но даже изумительно. Весна настоящая, деревья распускаются, жарко. Поют соловьи и кричат на разные голоса лягушки. У меня ни гроша, но я рассуждаю так: богат не тот, у кого много денег, а тот, кто имеет средства жить теперь в роскошной обстановке, какую дает ранняя весна».

И действительно, каждый тюльпан, каждый розовый куст, которые он сам сажал, казались ему богатством, отмечались им и пробуждали в нем действительность.

Он очень много работал в Мелихове. Помимо того, что он писал, и писал много, — он возился с сельским хозяйством, увлекался земской деятельностью — и без конца лечил окружающих крестьян и на дому, и за несколько верст; но никогда не устал от Мелихова так, как от Москвы.

Любопытно, что когда я только что приехала в Москву, окончив гимназию в Киеве, и еще никого почти не знала, я поехала в эту самую Лопасню, в деревню Векшино, где жила моя кормилица, чудесная женщина, заболевшая к сожалению чахоткой.

И когда я ее спрашивала, как она лечится, есть ли у нее доктор и пр. — она мне ответила:

— Не бойся, родимая, дохтур у нас тут такой хороший, что и в Москве не сыщешь, наш «Антон Павлович». И только несколько месяцев спустя, когда я подружилась с Чеховыми и узнала адрес их усадьбы, я поняла, что моя кормилица говорила о Чехове.

Я обыкновенно ездила в Мелихово или осенью, или зимой, или ранней весной, не пугаясь распутицы (мы раз с Ив. Павл. ехали из Мелихова на станцию 13 верст около 5 часов: то сани провалятся и примерзнут, их вырубать надо, то лошади провалятся и примерзнут, их вытаскивать придется). Но летом я обыкновенно скиталась и в Москве не жила. Благодаря этому я обычно попадала туда, когда гостей не было. Летом их наезжало столько, что иногда укладывать было негде, мать Чехова Евгения Яковл. и Марья Павловна с ног сбивались, а Ант. П. сбегал в крохотный флигелек из дома, чтобы работать без помехи. Но я бывала только с семьей. А так как Ант. П. знал, что я приезжала не к нему, а к Марье П., то не было никакого стеснения, и принимали меня радостно и радушно. Он писал сестре в Мелихово, из Москвы, знал, что я там: «Таня обязана остаться и ожидать нашего приезда, иначе ей будет плохо». Обыкновенно перед моими приездами он посылал мне реестры, чего надо привезти, вроде: «Милая Таня, привезите 2 бут. красного вина Удельного, 1 ф. швейцарского сыру, одну вареную колбасу с чесноком и одну копченую, и 1 ф. прованского масла. Обязательно привезите, а то

вам-же самим нечего будет трескаться. Любящий вас неромонах Антоний. Если довезете, то привезите 2 ф. сыру».

Или: «Дорогая Кума, возьмите у Келера на Никольской и привезите 2 фунта крахмалу самого лучшего, для придания нежной белизны сорочкам, а так же панталонам. Там же взять $\frac{1}{2}$ фунта прованского масла, подешевле, для гостей. А также побывайте на Арбате у портного Собакина и спросите у него, хорошо ли он шьет. Остаюсь любящий Вас Кум—Мирошник или сатана в бочке».

В осеннюю распутицу он предостерегал меня от поездки: «Я буду в восторге, если Вы приедете ко мне, но боюсь как бы не вывихнулись Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце, так что я теперь уже не способен любить».

Но когда я не послушалась его совета, он был очень рад, потому что чувствовал, что я любила и его, и всю их семью, и весь их уклад.

Дом у них был одноэтажный, небольшой, очень уютный. Кабинет Ант. Павл., давший идею художнику для декорации «Чайки», — с тамбуром, чтобы не дуло, с большой тахтой, книжными полками, камином и окнами, в которые весною глядели цветущие яблони, а зимою—доходившие до пол-окна сугробы снега; комната Марьи Павловны, комнаты стариков, уютная столовая с висячей лампой, гостиная, проходная, носившая громкое название «Пушкинской» потому что в ней висел портрет Пушкина, вот почти и всё. Кухня и людские были отдельно. Шутя, приезжих иногда вели по всем комнатам 2—3 раза и каждый раз называли комнату иначе: сейчас — «Пушкинская», а следующий раз «диванная» и т. д. Антон Павл. говорил, что это, как в плохих провинциальных театрах, чтобы усилить впечатление, тех же самых статистов, изображающих войска или народ, несколько раз подряд проводят по сцене.

Жили в доме старики, Ант. Павл., Марья П. и часто наезжали братья — Иван Павл. с головой Христа, тихий и серьезный, и младший, веселый, остроумный Михаил.

Старики были чудесные. Отец, Павел Егорович, высокий, крупный, благообразный старик, в свое время, говорят,

бывал крутенок и властен, но в те дни, когда я узнала его, он признал главенство Ант. П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что, вот, он дела свои вел неудачно, не сумел обеспечить благосостояния своей семье, — а «Антоша» взял все в свои руки и вот теперь поддерживает их всех, и оба они, и он, и старушка, считали главой дома «Антошу». Евгения Яковл. с умилением рассказывала мне о той, для нее незабвенной минуте, когда «Антоша», тогда еще молоденький студентик, пришел и сказал ей: «Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу!» (до тех пор это делали какие-то доброжелатели). «С этого времени все у нас и пошло», говорила старушка, «а он первым делом, чтобы все самому платить и добывать на всех... а у самого так глаза и блестят: «сам», говорит, «мамаша, буду в школу платить»... И Пав. Егор. всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, — несмотря на трогательно-почтительную и шутиливую нежность, с которой Чеховы с ним обращались; но в этой самой шутиливости конечно уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, которая бывала в детстве довольно сурова... Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось.

Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, с темными образами, старинными «божественными» фолиантами, с особым запахом каких-то лекарственных трав и кипариса и большими книгами, похожими на толстые конторские, в которые день за днем он записывал всё, что случалось.

Вот драгоценный материал для биографа семьи Чеховых! Там против каждого дня старинным крючковатым почерком были написаны — одна, две строки, но в них содержался главный смысл всего дня, в роде:

14. М. Женился.

15. Превосходно удались Марье налистники.

16. Девченки принесли ландыши из лесу.

17. Пастуха молнией убило.

18. Приехали гости, не хватило тюфяков.

19. Антон сердит.

20. Пиона расцвелась. И т. д.

— Эпически спокойно — радости, горести — все в одной строке...

Из этой книги можно было понять, откуда у Ант. П. дар так кратко и сжато в одной фразе дать всю картину, «в горлышке бутылки, блестящей на плоту» — дать всю лунную ночь...

Пав. Ег. был очень богомолен; любил ездить в церковь, курил в доме под праздник ладаном, а у себя в келье отправлял один вечернюю и всенощную службы, вполголоса читая и напевая псалмы в тишине вечера...

Ко мне он благоволил. Я всегда любила стариков и старушек, часто, в годы юности, именно их делала героями своих повестушек, и мне не было скучно слушать стариковские рассказы и поучения; поэтому он охотно принимал меня у себя в келейке, давал мне читать свою книгу, возил меня в церковь и т. д. — Милый Павел Егорович... Когда он внезапно заболел и скончался — никогда я не забуду, как плакала и убивалась кроткая Евгения Яковлевна и все повторяла беспомощно:

— «Голубчик мой (с характерным южным придыханием на букве г), голубчик мой, а сливы-то я намариновала, так он их любил: и не попробует, голубчик мой»... И было в этой бесхитростной «Чеховской» фразе столько любви и жалости и заботы прожитой вместе жизни, сколько не вместились бы в длинной, пышной речи.

Дом и уклад Мелиховский, по моему, хорошо мог бы описать только сам Чехов. Это была настоящая «Чеховская» усадьба: совсем не Тургеневская — не старинный дом с колоннами, вековым парком и беседкой-Миловидой, не романтический уголок из «Фауста» или «Затишья»; нет, новый, низкий дом без всякого стиля, всё нового поколения, и новые посадки сделанные руками хозяина. А у всех Чеховых есть одно замечательное свойство, их слушаются, цветы и растения, и все, что бы они не посадили — принимается хорошо. Ант. П. сам сажал, высеивал, обрезал розы, копал гряды, чем то белым обмазывал свои яблони и гордился своим садом. Каждую аллею, каждое дерево показывал в особом освещении: «вот эти сосны особенно хороши на закате, когда красные стволы; а дуб надо смотреть в сумерки» и т. п. И прудик свой он любил, хотя на том берегу его была деревня, но это ему не мешало; и завалинку перед гумном, смотрящую прямо в поле...

Не могу сказать чтобы места там были особенно красивые, но большая прелесть была в просторе полей, в темно-синей черте леса на горизонте, в алых закатах, ложившихся на полосы сжатого хлеба. . и потом, как писал А. П.: «Глушь, тишина, соловьи, лоси»... .

Близость деревни ему не мешала. Отношения с крестьянами установились отличные. Шли они к нему за всем и без церемонии. Полна деревня была каких-то старух, «бабка Вера», «бабка Анна», которых он и Марья П. лечили и содержали. Отправляясь иногда с М. П. в обход по этим «бабкам» я видела как просто и хорошо делалось Чеховыми все что делалось: без слащавой сентиментальности, все с той же шуткой которая является отличительной чертой Чеховых. У всех у них эта немножко юмористическая складка губ, и собирающиеся в морщинки углы глаз, и умение пошутить и любовь поддразнить, как сам А. П. писал: «Вы знаете, мы не можем жить, если возле нет мишени, куда бы мы пускали свои юмористические стрелы».

Не могу не вспомнить чисто Чеховского эпизода. В один из таких обходов мы с Мар. П. встретили мальченку лет 6—7, которого она не могла припомнить. Она его спросила:

— Кто твой тятка?

— Нет у меня тятки! Мрачно ответил он.

— А мамка кто?

— И мамки нету.

— Чей же ты?

— А я от двух теток пошел, последовал неожиданный ответ! Оказалось, что его, круглого сироту, действительно воспитывают две тетки. Ант. П. очень веселился, когда мы рассказали ему это.

Марья П. занималась всем по имению. Хрупкая, нежная девушка надевала толстые сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо сияли ее глаза, и целые дни пропадала то в огороде, то в поле, то на гумне, стараясь, где возможно, оберечь «Антошу» от лишней работы. Такой дружбы между сестрой и братом, как между М. П. «Ма-па», как он ее звал, и А. П.—мне видеть не приходилось. М. П. не вышла замуж и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушить течения жизни Ант. П.; а она то имела все права на личное счастье; но отказывала всем,

думая, что Ант. П. так и не женится. Он, действительно, не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится и «счастье, которое продолжается изо дня в день от утра до утра» — он не выдержит. И женился он поздно, когда трудно было и предположить это; но, я думаю, и вообще не женился бы, если бы не видел, что его будущую жену связала с М. П. очень теплая дружба.

Жизнь в Мелихове шла мирно и тихо. Иногда разнообразилась прогулками по окрестностям или поездкой к соседям С., где хозяйка чудесно играла Бетховена. Ант. П. любил музыку и умел слушать ее. Он много занимался затворившись у себя в кабинете, работал, но когда отдыхал, то отдыхал от души, и бывал тепло радушен и оживлен. Его хорошее отношение ко мне выражалось главным образом тем, что он неимоверно дразнил меня. Кажется никто никогда не дразнил меня так. А больше, чем меня, дразнил он разве Лику. Даже, когда он хвалил меня, он всегда почти делал это под соусом шутки: то уверял, что какие то мои стихи так хороши, что я конечно списала их в каком-нибудь старом журнале; то писал, например: «Сегодня в 9 часов утра, сидя в холодной классной комнате на Н. Басманной, я прочел Ваше «Одиночество» и простил Вам все Ваши прегрешения... Рассказ положительно хорош и, нет сомнения, Вы умны и бесконечно хитры. Меня больше всего тронула художественность рассказа. Впрочем Вы ничего не понимаете. Ваш А. Чехов».

Правда, бывало, что он и серьезно писал мне, напр.: «Говорят, что Ваша повесть будет напечатана в «Неделе» (речь идет о повести «Счастье»). Радуюсь за вас и от души поздравляю: Неделя — солидный и симпатичный журнал. До свидания, милый дружок. Ваш А. Чехов». Я очень всегда радовалась его добрым отзывам, а его поддразнивание было так добродушно, что я первая над ним хохотала.

У себя на камине, например, он поставил мой портрет (в бальном платье и с веером) и написал на нем «Lisez Schepkina-Coupernik!» — «Читайте Щепкину-Куперник!». Это был такой известный адвокат, князь А. И. Урусов, большой друг Щепкинской семьи, человек европейски образованный и страстно любивший Флобера; в свое время, когда у него попросили автограф для его портрета в какое-то издание, он к большому негодованию патриотов

написал по-французски: «Lisez Flaubert», что и дало повод Ант. П. к этой шутке.

Дразнил он меня всячески. Например, прозвал «Татьяна * *-ва», по имени одного из самых своих не любимых знакомых журналистов, * *-ва, человека к тому же очень невзрачного на вид (я впрочем его так ни разу в жизни и не видала...) и грозил меня выдать за него замуж.

Один из любимых рассказов был такой: как он, Ант. Павл., будет «директором императорских театров» и будет сидеть в кресле, важно развалившись, «не хуже Вашего П.». И вот курьер доложит ему: «Ваше Пр—во, там бабы с пьсами пришли!» (вот как у нас бабы с грибами ходят)... — Ну, пусти!.. И вдруг входите вы, кума, и — в пояс. — Кто такая? — Татьяна * *-ва — с... — А! Татьяна * *-ва!.. Ну, по старому знакомству так уж и быть, приму Вашу пьесу...».

Кумой стал звать меня Ант. П. с тех пор, как мы с ним крестили дочку у его соседа, кн. Шаховского, известного своей деятельностью во время голода. И уверял меня при этом, что он нарочно со мною крестил, а то бы я непременно заставила его жениться на себе!

Как-то Ант. П. затеял писать со мной одноактную пьесу и написал мне для нее длинный первый монолог. Пьеса должна была называться «День писательницы». Монолог тоже заключал множество всяких шуток по моему адресу и начинался так: «Я—писательница. Вы не верите? Посмотрите на эти руки: это руки честной труженицы: вот, даже чернильное пятнышко» (У меня всегда бывало чернильное пятно на среднем пальце...).

Почему-то я запомнила это начало; запомнила еще, как писательница мечтает уехать в деревню: «Чтобы был снег... тишина—тишина... вдали собаки лают и кто-то на гармошке играет, а-ля какой-нибудь Чехов»... Я не успела дописать свою часть, как тетрадка эта у меня куда-то пропала, а с ней и написанный Чеховской рукой монолог... Тогда я даже не пожалела об этом... Странно, но совсем не думалось тогда, что ведь он писатель, которого уже знает и любит вся Россия, что будет время, когда каждую его строчку будут собирать и прятать бережно... А был он просто милый Антон Павл., шутивший со мной так просто... Так мне теперь больно, что я не вела дневника, не заносила в него каждой меткой фразы Ант. П., каждого его доброго слова;

их было так много, так умел он к чужому, самому скромному творчеству подойти с интересом и глубокой внутренней деликатностью; так бы надо было это все сохранить. Но когда человек с нами, жив, здоров — нам в юные годы кажется, что это вечно будет так, призрак потери еще не смущает нас, и мы не считая расточаем все то богатство, о котором после так будем жалеть...

Помню, как то раз шли мы в усадьбу после дождя, который мы долго переживали в какой-то пустой риге, и Чехов, держа мокрый зонтик, сказал: «Вот бы надо написать такой водевиль: переживают двое дождь в пустой риге; шутят, смеются, сушат зонты, объясняются в любви; потом дождь проходит, солнце, и вдруг он умирает от разрыва сердца».

— Бог с вами! изумилась я: — какой-же это будет «водевиль»?..

— А за то жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся, и вдруг — хлоп, конец!..»

Конечно «водевиля» этого он не написал. Как-то вытащил он записную книжку, из которой любил нам иногда прочитывать поразившие его фразы, названия станций, имена (в роде «Розалия Аромат») и сказал: — Вот, кума: когда будете замужем, непременно так с мужем разговаривайте. Это я слышал, когда из Ялты на пароходе ехал: дама говорила мужу: «Jean, твою птичку укачало!».

Нардо было слышать его капризно-детский тон, которым он передразнил эту даму! Я после нашла эту фразу в его рассказе «Ариадна». Вообще много каких-то черточек, расброшенных и подмеченных им тогда, встречались мне потом, как старые знакомые. Напр., Варя Э., о которой я упоминала, девушка 22 лет (к которой очень хорошо относился А. П.), поражала нас всех своей забавной в молодой и красивой девушке привычкой: она нюхала табак, как женщины XVIII века. И Чехов свою 22-летнюю Машу в «Чайке» заставляет нюхать табак.

Иногда впрочем А. П. не только шутил со мною, но и елал кое-какие указания, особенно советовал отделяться от «готовых слов» и шаблонных форм, в роде: «причудливые очертания гор... Ночь тихо спустилась на землю...» и т. п. и не выносил, когда попадались в стихах «птички», «звездочки», «цветочки» и т. п. уменьшительные. Одно время

он очень увлекался психиатрией (как раз он писал для «Артиста» рассказ «Черный монах») и говорил мне:—Если хотите сделаться настоящим писателем, изучайте психиатрию, — это необходимо.

Серьезные разговоры скоро сменялись поддразниванием, но и тогда обыкновенно он говорил так серьезно, что я часто попадалась на удочку. Напр., в Мелихове бродили по «наивному», как его называл Чехов, двору кофейного цвета с белым египетские голуби и совершенно такой же расцветки кошка; и А. П. уверил меня, что эти голуби произошли от скрещенной этой кошки с обыкновенным голубем; лучше всего было то, что я не решалась не верить такому авторитету, как А. П., и кому-то в Москве потом рассказала о замечательных Чеховских голубях; только когда меня подняли на смех, я устыдилась своего биологического невежества...

Самыми веселыми часами Мелиховского дня были трапезы, за которыми Ант. П. бывал всегда необычайно приветлив, весел и радушен—почти так же, как Евгения Яковлевна, до того любившая всех кормить, что она даже на ночь ставила к моей кровати то кусок курника, то еще что-нибудь: «а вдруг детка ночью проголодается»...

Ант. П. угощал и приглашал к «мутному источнику». Это выражение имеет свою историю.

Пав. Ег. любил ездить в церковь и иногда брал меня с собой. Как то раз в воскресенье были мы с ним у обедни, и деревенский батюшка говорил крестьянам проповедь, которая очень понравилась старику.

Вернувшись из церкви, он сказал:

— Вот, Антон, ты в церковь не ходишь, а какую батюшка хорошую проповедь сказал—приятно было слушать!

А. П. серьезно, но с смеющимися глазами попросил меня рассказать ему содержание проповеди: «что в ней так понравилось папаше?».

Проповедь гласила приблизительно следующее:—«Что бы вы сказали»,—обращался батюшка к прихожанам, «если бы увидели путника, томимого жаждой, и рядом с ним два источника: один прозрачно чистый, другой же мутный и загрязненный, и вдруг путник для утоления жажды пренебрегает чистым источником и утоляет свою жажду в мутном? Вы бы назвали его неразумным! Но не то же-ли самое

делаете и вы, когда в праздничный отдых свой, вместо того, чтобы идти к чистому источнику церковной службы, душе-спасительного чтения и пр., — отправляетесь в кабаки и там пьянствуете?..» и т. п. (Это было еще до введения монополии и тогда такие проповеди поощрялись). Антон Павл. выслушал проповедь, похвалил ее и сказал:

— Ну а теперь пойдете к мутному источнику, ибо по берегам его растут великолепные соленые грузди!

С тех пор выражение «мутный источник» получило право гражданства.

После обеда обыкновенно начиналась игра с собаками. В доме жили две таксы, любимицы А. П.: коричневая Хина Марковна, которую он звал «страдалицей» и уговаривал лечь в больницу, чтобы ей полегчало; — и Бром Исаич, черный с подпалинами, о котором А. П. уверял, что у него глаза Левитана: и действительно у него были скорбные, томные, темные глаза, как у Левитана.

Любимая игра была дразнить собак моим собольком, которого я носила на шее. Собаки сходили с ума и лаяли, прыгая кругом него. Мне надоел шум, да я и боялась за судьбу моего соболька, и я его спрятала. После этого меня стало удивлять, что собаки с такой же яростью лаяли, как только Ант. П. покажет им сигарную коробку, стоявшую у него на камине. Так и заливаются, так и рвутся к коробке! Наконец я поняла, в чем дело. Ант. П. потихоньку стащил моего соболька из комода, показал им и при них спрятал в сигарную коробку.

Я упомянула о Левитане и не могу не вспомнить одного эпизода с ним. Левитан был большим другом Чеховых и играл большую роль в молодые годы Чехова.

Я с ним познакомилась еще раньше, чем с Ант. П., там же, где и с Ликой — у одной художницы, Софьи Петровны К. — женщины очень интересной. Это была женщина лет за 40, некрасивая, с смуглым лицом мулатки и вьющимися темными волосами (только не такими, как у негров, а очень мягкими) и с великолепной фигурой. Она была очень известна в Москве, да и была «выдающейся личностью», как принято тогда было выражаться. Она писала красками (и очень хорошо, главным образом цветы), прекрасно играла на фортепиано; в молодости носила мужской костюм и ходила на охоту, а позже ездила с художниками на этюды на

Волгу в качестве полноправного товарища. В городе у нее бывала «вся Москва», — писатели, артисты, главным образом художники, — в скромной казенной квартире под одной из Московских полицейских частей, где ее муж занимал должность участкового врача... Эту квартиру она устроила оригинально, «не как у всех»: в столовой поставила лавки, кустарные полки, солонки и шитые полотенца, «в русском стиле», спальню свою задрапировала на манер восточного шатра, по комнатам у нее гулял ручной журавль и т. п. Муж у нее был терпеливый, молчаливый, вся его роль сводилась к тому, что он часам к 12 отрывался от шахмат, за которыми сидел с каким-нибудь приятелем, и, входя в гостиную, где читали, пели, играли и разговаривали, — приглашал:

— Пожалуйте закусить, господа!

За ужином он продолжал оставаться молчаливо гостеприимным; ужин всегда был скромный, но вкусный, и Софья Петровна с гордостью хвалила мужа, подчеркивая, что «хозяйка дома» он, а не она.

Ант. П. не долюбливал Софью П—ну. В то время в Москве прошла трагедия Грильпарцера «Сафо», которую изумительно играла Ермолова, изображая трагедию стареющей Сафо, любимый которою Фаон увлекается юной Мелитой. Ант. П. прозвал С. П.—Сафо, Лику—Мелитой и уверял, что Левитан сыграет роль Фаона... Софья П. действительно была близка с Левитаном. Левитану тогда было за 30 лет. Очень интересное лицо, слегка вьющиеся темные волосы, очень высокий лоб; великолепные бархатные глаза, остроконечная борода — тип семитический в его наиболее благородном выражении, испано-арабском. Не даром у Чеховых его любили наряжать бедуином, и Ант. П. устраивал с ним целые театральные представления, где он «творил намаз», подползал из-за кустов с ружьем, или его убивали и т. д. В своих бархатных рабочих блузах он совершенно казался сошедшим со старинного портрета кисти Веласкеза... Он знал, что им любуются и сам обращал внимание на свою наружность, на свой галстук, повязанный бантом, и прочее. Вот насколько Ант. Павл. внешностью не походил на «писателя», каким его себе представляют читатели романов, настолько Левитан был типичен для художника: если бы вывести художника на сцене, то лучшего грима нельзя бы было придумать, чем изобразив его.

Первое же лето по моем приезде в Москву я провела с Софьей Петр. и Левитаном; они сняли старинное имение у обедневших помещиков «Островно» в очень красивой местности на озерах, недалеко от Мсты; и Софья П. на все лето пригласила меня с молоденькой приятельницей: она любила окружать себя молодыми лицами, и права была... Ее горе пришло не от молодого существа. — Левитан очень нас полюбил, звал «девочками», играл с нами, как с котятками, писал нас в наших платящах «ампир» — меня в сиреневом, а ее в розовом, на серебристых от старости ступенях террасы, заросшей сиренью; возил нас на лодке на островок и оставлял там до 6 часов, когда опять приезжал, чтобы отвезти домой. На этом островке мы оставались одни и жили жизнью лесных нимф: купались, обсыхали на солнце, опять купались, рвали землянику, а потом она учила какие-то монологи, — она была ученицей театральной школы, тоненькая девушка с наивными глазами и толстой косой, — а я писала бесконечные стихи. Когда раздавался плеск весел по озеру в предзакатной тишине, мы набрасывали свои платяща и бежали к берегу, — и уже с озера слышали веселый голос Левитана:

— Девочки, ужинать! Раки сегодня!..

Софья Петр. была ласкова, весела, ходила в каких-то невероятных греческих хитонах или утрированно-Васнецовских шушунах и по вечерам играла Лунную Сонату или *Appassionat'u*, а Левитан слушал, жмурил от удовольствия глаза и по своей привычке протяжно вздыхал...

Но идиллия нашей жизни к середине лета нарушилась. Приехали соседи, семья видного Петербургского чиновника, имевшего поблизости усадьбу. Они, узнав, что тут живет знаменитость, Левитан, — сделали визит Софье П. — и отношения завязались. Это была мать и две очаровательные девушки наших лет. Мать была лет Софьи Петровны, но очень *soignée*, с подкрашенными губами (С. П. краску презирала), в изящных, корректных туалетах, с выдержкой и грацией, Петербургской кокетки... И пот завязалась борьба.

Мы, младшие, продолжали свою полу-детскую жизнь, а на наших глазах разыгрывалась драма... Левитан хмурился, все чаще и чаще пропадал со своей Вестой «на охоте», Соф. П. ходила с пылающим лицом, и кончилось все это

полной победой Петербургской дамы и разрывом Левитана с Соф. П—ной.

Нам было жаль Соф. Петр., но с бессознательной жестокостью 17 лет мы удивлялись: неужели в такие годы можно любить?

И я серьезно говорила:

— Когда мне будет 40 лет, я или умру, или в монастырь пойду...

Вот эта-то бедная Соф. Петр. и послужила в свое время предметом раздора между Ант. П. и Левитаном, бывшими однако настоящими, большими друзьями.

Ант. П. написал рассказ «Попрыгунья», на который его несомненно натолкнуло что-то из жизни Соф. Петр.—Только писатель знает, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творческую. С паивностью художника, берущего краски, какие нужно и где можно, Ант. П. взял много внешних черточек из обстановки С. П.; он сделал свою героиню очаровательной 20-летней блондинкой, и ему казалось, что этого довольно; однако Соф. П. себя «узнала» и обиделась. Ант. П. писал по этому поводу одной из своих корреспонденток:

...«Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуньи» и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».

Левитан, «узнавший» себя в художнике Рябовском, тоже обиделся, хотя в сущности обидного ничего для него не было, и за одну несравненную талантливость этого рассказа надо было автору «простить все прегрешения». Тут вступились друзья, приятели, пошли возмущения, негодования, разрасталась тяжелая история, и друзья больше года не виделись и не разговаривали, что обоим было очень неприятно...

Как-то зимой, отправляясь в Мелихово, я заехала по дороге на вокзал к Левитану, обещавшему мне показать этюды, написанные в «Островно», в его красивую, в коричневых тонах, мастерскую, отделанную для него Морозовым в своем особняке. Я была нагружена всякими покупками, радостно оживлена, как всегда, когда ехала к Чеховым. Когда Левитан узнал, куда я еду, — он стал по своей привычке

длительно вздыхать и говорить мне, как ему тяжел этот глупый разрыв и как-бы ему хотелось туда поехать.

— Зачем-же дело стало? Говорю я с энергией и стремительностью 19-и лет; — раз хочется, так и надо ехать. По-едемте со мной сейчас!

— Как? Сейчас? Так вот и ехать?..

— Так вот и ехать.

— А вдруг это будет не кстати... А вдруг он не поймет...

— беру на себя, что будет кстати! безапелляционно решила я. Левитан заволновался, зажегся... и вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки — и через несколько часов мы подъезжали по зимней дороге к низенькому Мелиховскому дому. Всю дорогу Левитан волновался, протяжно вздыхал и с волнением спрашивал:

— Таничка, а вдруг (он очень приятно грассировал) — мы глупость делаем?..

Я его успокаивала, но его волнение невольно заражало и меня, и у меня сердце стало ёкать: а вдруг я его подведу под неприятную минуту? Хотя с другой стороны, зная Ант. П., я была уверена, что нет.

И вот мы подъехали к дому; залаяли собаки на колокольчик, — выбежала на крыльцо Марья Павл., вышел закутанный Ант. П. — в сумерках взгляделся, кто со мной — маленькая пауза — и оба кинулись друг к другу, так крепко-крепко схватили друг друга за руки — и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах — о дороге, о погоде, о Москве... будто ничего и не случилось.

Но за ужином, когда я видела, как влажным блеском подергивались прекрасные глаза Левитана и как весело сияли обычно задумчивые глаза Ант. П., — я была «ужасно довольна сама собой».

Историю с С. П. Чехов очень не любил и между прочим писал мне по поводу моего рассказа «Одиночество»:

— «А все-таки вы не удержались, и на строке 180 описали С. П.» — Но он напрасно поддразнил меня этим: я ее не описывала в этом рассказе. А много лет спустя, когда ни ее, ни Левитана уже не было на свете, — я описала их историю в рассказе «Старшие», напечатанном в «Вестнике Европы»; теперь можно в этом сознаться.

Когда Чехов продал Мелихово и окончательно переселился в Ялту, у меня точно оторвался кусочек сердца.

В это же время умерла и моя кормилица, — и больше мне незачем стало ездить в Лопасню.

Вскоре и я уехала из Москвы, жила то за границей, то в Петербурге, но в Крым мои скитания меня не приводили.

Время от времени мы обменивались письмами с Ант. П.

Он писал в обычно-шутливом тоне, напр., просил меня прислать пьесу. «Любезная Кума, окажите услугу, пришлите мне пьесу Вашу «Вечность в мгновении» и поскорее пожалуйста, хотим поставить ее, уплатив Вам авторского один рубль. Афишу пришлю своевременно, а также и рецензию. (Тут тоже водятся рецензенты. Хорошо пишут).

Если почему-либо не можете выслать пьесу, то поскорее уведомьте. Мой адрес — Ялта д. Бушева. Кстати напишите как делишки. Мне здесь скучно, как белуге. Не забывайте и иногда пишите. Вообще же поменьше об себе понимайте и почитайте старших.

Ваш благодетель и кум Повсекакий. Пишите. Пробуду тут весь месяц.

Где можно купить «Романтики?». Очень нужны. Видите как я забочусь о Вашей славе. Как только заговорили о любительском спектакле, я тотчас-же Вам эстафету».

Следующее письмо он писал мне в ответ на мою просьбу — разрешить играть в Малом театре его пьесу «Медведь», которую хотела поставить А. П. Щепкина.

— «Милая Кума, спешу ответить Вам насчет «Медведя». Повторяю, я очень рад. Пишу — повторяю, потому что года 2 назад, по Вашему произволению, я уже писал о своем согласии и чут-ли кажется не подписал условие. Мой «Медведь» пойдет на Малом театре (или правильнее — на сцене Малого театра) — для меня это только лестно.

Татьяна * - ва - с, я на сих днях послал Вам открытое письмо, просил у Вас «Вечность в мгновении». Пришлите, пожалуйста. Я хочу здесь прочесть лекцию «об упадке драматического искусства в связи с вырождением» и мне придется прочесть отрывки из Вашей пьесы и показать публике фотографии — Вашу и артиста Г.

Да, Вы правы: бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и, я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием: позвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиза, и магазин сжечь.

Компания здесь есть, мутные источники текут по всем

направлениям, есть и бабы—с пьесами и без пьес, но все же скучно: давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей. Приезжайте, мы поедем обозреть окрестности. Еда тут хорошая.

Ваш кум А. Чехов».

Я первая написала ему о постановке его «Чайки» в Художественном театре, на которой к сожалению он не присутствовал. Он откликнулся письмом:

— «Милая кума, поздравляю Вас с новым годом, с новым счастьем, желаю провести оный в добром здравии и благополучии и дожидаться многих предбудущих. Телеграмму Вашу получил, и был тронут до глубины сердца. И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке» были Вы, милая, незабвенная кума.

Как Вы поживаете? Когда пришлете мне Вашу книжку стихов? Кстати, Ваше стихотворение «Монастырь» просто прелесть, одно великолепие. Очень, очень хорошо. Здесь в Ялте продолжается теплая погода, хочется снегу. Жму руку. Будьте здоровы. Не забывайте Вашего кума кучера Антона».

А стихотворение, о котором упоминает Ант. П., было навешено, как раз, похоронами его отца в Новодевичьем монастыре...

Так время от времени мы писали друг другу, но встречались уже редко.

Последняя наша встреча живо осталась в моей памяти...

Ант. П. приехал в Москву осенью, но медлил уезжать, несмотря на ужасную погоду. Он остановился в небольшой квартирке, которую его жена делила с Марьей Павловной. Я изумилась происшедшей в нем перемене: бледный, землистый, с ввалившимися щеками, он совсем не похож был на прежнего А. П.

Трудно было поверить, что он живет в Ялте — ведь это должно было поддержать его, и все говорили, что в его возрасте болезнь эта не опасна для жизни. Он горбился, зябко кутался в какой-то плед, и то и дело подносил к губам баночку для сплевыванья мокроты.

Его жена, прекрасная артистка О. Л. Книппер, не мыслила себя без Художественного театра, как и театр не мыслил себя без нее.

Ант. П. шутя писал как-то одному своему приятелю: «Извольте, я женюсь если Вы хотите этого; но мои условия— всё должно быть как было до этого, т. е. она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая как луна являлась-бы на моем небе не каждый день». Он писал это лет за 6 до своей женитьбы, но то, что так весело звучало в шутливом письме, оказалось не совсем так на деле. Ант. П., очень ценя талант О. Л., разумеется не допускал и мысли, чтобы она отказалась от сцены, но скучал без нее в Ялте, рвался в Москву и застревал там дольше, чем позволяли доктора и благоразумие.

В этот вечер О. Л. участвовала в каком-то концерте, за ней приехал корректный Влад. Ив. Немирович во фраке с безупречным белым пластроном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяла тонкими духами, ласково и нежно простилась с Ант. П., сказав ему какую-то шутливую фразу, чтобы он «не скучал и был умником», и исчезла.

Ант. П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. Поднес свою баночку к губам, и когда прошел приступ кашля, сказал — без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний прошлого, общих знакомых и пр.

— Да, кума.. помирать пора..

После этого раза я больше не видела Ант. П. и даже не была на его похоронах, так как о его кончине узнала в путешествии. Я приехала на его могилу в Новодевичий монастырь только несколько лет спустя после его смерти... и застала там свежие цветы и какую-то молодежь, пришедшую поклониться праху тогда еще любимого писателя. С башенных часов, отбивающих каждую минуту, слетали и, как жемчужины, падали минуты в чистый воздух, и под их звон слагались в душе стихи. Я стояла над его могилой и думала:

«Но полно... Здесь-ли он? под тяжестью гранита
Ужель его душа погребена и скрыта?
Ужели нет его?.. В прозрачной тишине,
Где слышен ход минут, как звон жемчужных четок,
Он верно с нами здесь, печален, но и кроток;
Он с нами — навсегда; и в каждом сером дне,
И в русских сумерках, и в летней дрёме сада,

И в нежной девушке с задумчивостью взгляда,
И в скорбной женщине с надломленной душой;
В молитвенной тоске и чистой и большой;
В осеннем вечере и в музыке Шопена;
Он с нами, наконец, и в светлой вере той,
Что человечество разрушит узы плена,
«И будет жизнь еще прекрасной и святой»...
Он с нами — навсегда; душа его родная,
Все наши тягости, сомненья, муки зная,
Нам издали дарит свой грустный тихий свет,
Как тихая звезда над темными волнами...
И верю: с Чеховым для нас разлуки нет;
Пока душа жива — я знаю, Чехов с нами!».

Т. Щепкина-Куперник..